Палач снов



18+

Роман Лагода

Роман Лагода

Палач снов

«Автор»
2026

Лагода Р.

Палач снов / Р. Лагода — «Автор», 2026

Она пришла разбудить отца. Путь к нему знает только тот, кто его усыпил. Он лежит внизу, куда студентам вход закрыт. Кошмары таких спящих превращают в дурман: здесь его называют мглой. За мглу платят целые города.Злата поступает в академию под чужим именем. Здесь учат входить в чужие сны и доставать оттуда то, что велено. Ей это не нужно. Она пришла за отцом и нарушит любое правило, лишь бы до него добраться.Вниз её может провести только один. Магистр Арвид Холм. За спиной его зовут Палачом: это он укладывает людей в сон, из которого их не будят. Он усыпил её отца. И когда-то закрыл дверцу шкафа, за которой пряталась она сама.Без него до отца не дойти. Рядом с ним нельзя верить ни одному слову. Чтобы докопаться, откуда берётся мгла, Злате придётся работать на человека, которого она ненавидит. И который имеет причины ненавидеть её.Некоторые сны лучше не будить.

© Лагода Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Первый блин 5
Глава 2 10
Сто тридцать 10
Глава 3 13
Правой рукой 13
Глава 4 17
По носу 17
Глава 5 20
Мокрое письмо 20
Глава 6 24
Клеймо 24
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Роман Лагода
Палач снов

Глава 1

Первый блин

На вступительном меня заперли в голове убийцы. Правило было простое: выйти прежде, чем он вспомнит, что я здесь. Мне его сообщила девушка в зелёном пальто. До этого я знала только прозвище экзаменатора. В очереди его произносили вполголоса — проверяли, не отзовётся ли кто. Палач.

Девушка вернулась через двадцать минут. Лицо белое, на запястье темнели синяки. В кулаке — связка сушек на бечёвке. Остановилась рядом, уставилась в стену.

— Выйди прежде, чем он вспомнит, что ты там.

Откусила сушку и ушла.

Следом позвали меня. До соляной галереи было сто четырнадцать ступеней. В стенах — ниши. В каждой колыбель и жестяная бирка: фамилия, статья, год. На всех одно и то же слово: «Уложен». Графы «Разбужен» не было. Я считала ступени, чтобы не читать имена. Магистр шёл впереди и ни разу не оглянулся.

— Вы считаете, — сказал он на девяносто шестой.

— Чтобы не упасть.

— Упадёте внизу. Здесь можно не стараться.

Я не поняла, шутка это или предупреждение.

Подземный коридор оказался ниже, чем я ждала. Магистр пригнул голову. Я — нет. Стены сошлись так близко, что пришлось провести ладонью по камню: проверить, не ползёт ли. Палец стал шершавым. Я облизнула его. Солёный. Значит, явь. Так было написано в книжке за шесть копеек, купленной вместе с документами.

За серой занавеской стояла колыбель — соляное корыто под серым одеялом. Рядом табурет и ведро с рассолом. Магистр вынул часы. Стекла не было. Он коснулся стрелки пальцем: идёт ли.

При свете фонаря я разглядела его. Высокий, сутулый. Нос когда-то сломан и сросся криво. Виски седые, хотя самому лет тридцать пять. Левая кисть в белых буграх старых ожогов. Я посмотрела на неё. Потом заставила себя смотреть в сторону.

— Холм, — сказал он. — Магистр дознания.

— Ольга Серова.

— Вижу. Бумага передо мной.

Серовой я была третью неделю. Злату Вереск сдала в камеру хранения на вокзале, в чемодан с двойным дном, рядом с отцовской бритвой и маминым гребнем. Номерок бросила в канал. На всякий случай.

Холм кивнул на колыбель.

— Савва Гром. Сорок один год. Спит третий. Трое убитых. Двоих нашли.

У Грома было доброе лицо: круглые щёки, веснушки, мягкий рот. Так выглядят торговцы мёдом, которые дают попробовать с ножа. Из-под одеяла шло ровное дыхание.

— Найдите нож, — сказал Холм. — Где держит. Ничего больше.

— Ничего больше.

— Гром не знает, что спит. Не давайте повода догадаться. Поймёт, что вы чужая, — выходите.

Как?

— Счёт назад. Якорь.

— Какой якорь?

Я коснулась шнурка под воротом. Латунный ключ от дома на Кожевенной. Дома уже не было. На бородке щербина. Я узнавала её пальцами, не глядя.

— Есть.

Холм не спросил, от чего ключ. Сел на табурет. Часы — на колено.

— Ладонь на запястье. Счёт до десяти. На десяти падаете. Время пойдёт, когда начнёте.

Я опустилась на колени. Соль царапнула юбку и прошла холодом сквозь ткань. Запястье Грома широкое, рыжее от волос. Под кожей синела жилка. Потолок нависал так низко, что я не видела его, только чувствовала теменем. Хотелось выпрямиться. Выпрямляться было некуда.

Раз.

Я решила коснуться на десяти. Сначала досчитать, потом положить ладонь. Так спокойнее. Пальцы дрожали, и я держала их над запястьем. Глупо: человек, который спит третий год, дрожи не заметит.

Два. Три.

Сверху сухо хрустнуло. С потолка осыпалась соль.

Четыре. Пять. Шесь.

На семи потолок исчез. Я стояла на кухне. Солнечный прямоугольник лежал на столе. В консервной банке на подоконнике росла герань. За окном пели женщины — далеко, хором, что-то свадебное. Пахло горячим маслом.

Савва Гром стоял у плиты в фартуке с петухами и пёк блины.

— О! Соседушка. За солью пришла?

Голос был такой, каким говорят: кушай, не стесняйся.

— За солью.

— Так у нас её весь город на себе держит. Бери, не жалко.

Он указал на полку, на банку с надписью «САХАР».

— Садись. Первый блин собакам, второй тебе.

Я села. Табуретка была та же, что внизу, у колыбели. Сон не стал прятать знакомую вещь. Первый блин вышел рваным. Гром отправил его под стол. Оттуда донеслось чавканье. Я не стала заглядывать.

Он мешал тесто большим ножом. Деревянная ручка обмотана синей изолентой. Лезвие ходило по эмалированному тазу, тесто тянулось и чмокало.

— Мама венчиков не признавала, — сказал Гром. — Нож и взобьёт, и нарежет, и заступится. Ты кушай.

На столе появилась тарелка. Блин тонкий, ровный, в дырочках. От запаха свело живот. Я не ела с утра, а до того — со вчерашнего обеда. Откусила. Во рту расползлась мокрая безвкусная мякоть.

— Вкусно, — сказала я.

— А то. Мамин рецепт.

Этот человек задушил троих и теперь угощает меня блинами. Я сижу у него в голове. Мама, может, тоже здесь, за стеной. Под столом снова захлопали челюсти. Я засмеялась в кулак.

Гром посмотрел на меня.

— Ты чего?

— Нож красивый. Не боитесь, что украдут?

Вопрос вышел прямой и глупый. Холм наверняка записал бы его в список того, чего делать не следует.

Гром весело погрозил мне ножом. С лезвия стекла капля теста.

— Кто его украдёт? Я его в муке прячу. В ларе, на самом дне. Мама так делала, и я делаю. Мука всё в себя берёт: запах, сырость…

Он замолчал. Нож замер над тазом. Я перестала жевать.

— Сырость, — повторил он и снова принялся мешать. — Ты кушай.

Нож — в ларе с мукой, на дне, в доме матери. Задание выполнено. Можно уходить: счёт назад, ключ, соляная ниша, магистр с часами без стекла. Но под столом лежал половик, и оттуда тянуло холодом, погребом, квашеной капустой. Каждый раз, переворачивая блин, Гром коротко косился туда. Будто проверял, не убежало ли молоко.

Трое, сказал Холм. Двоих нашли. Третьего не нашли. Кто-то ждёт его третий год. Ставит лишнюю тарелку и убирает в буфет. Я сама так делала, пока дом не отобрали. А ниже ста четырнадцати ступеней четвёртый год спал мой отец. Экзамена мне было мало.

— Соседушка, — сказал Гром, не оборачиваясь. — Половик не трогай. Мама ругается.

Я ещё не тронула. Только посмотрела.

На сковороде зашипело. Блин почернел по краям. Гром охнул и схватился за ручку. Я присела, откинула половик и нащупала железное кольцо. Под столом никого не было. Только миска, вылизанная до блеска.

Люк поднялся легко. Вниз уходила узкая лестница. Восемь ступеней. Там было темно и тесно. Потолок ниже, чем в соляной нише. Пальцы на кольце вспотели. Я полезла.

Погреб оказался размером со шкаф. Это стало ясно прежде, чем глаза привыкли: плечи едва проходили между кадушками, руки не развести. Пахло рассолом и сырой землёй. Я начала считать вперёд.

Восемь. Девять. Дыши. Десять.

Крышки кадушек придавили камнями. На одной камня не было. Передо мной стоял не чан из дерева, а железный, рыжий от ржавчины. На боку клеймо: «Пятая солеварня». Такие выбрасывали за старыми варницами, когда прогорало дно. Чан был засыпан солью. Из соли выступал рукав чёрного сатинового нарукавника — такие носят счетоводы, чтобы не протирать локти. Из рукава торчала белая кисть. Пальцы сохранились чистыми. Соль сберегла их.

Я не закричала. Досчитала до двадцати и повторила про себя: пятая солеварня, железный чан, прогоревшее дно, нарукавник.

Свет в люке погас.

— Ты не соседка, — сказал Гром сверху.

Голос остался прежним. Только из него вынули «кушай» и «соседушка».

— Соседка рыжая. Ты кто?

Дерево скрипнуло. Он спускался без спешки. Нож остался наверху.

Десять, начала я. Девять.

На восьмой ступени он взял меня за горло. Рука тёплая и мягкая, как тесто. Большой палец лёг под подбородок, остальные сомкнулись сбоку. Он прижал затылок к кадушке и надавил. Не со злостью. Тщательно, будто месил.

Семь я сказать не смогла. Воздуха не было. Сверху всё тянули свадебную. В книжке за шесть копеек было написано: считать вслух. Про шёпот там ничего не говорилось. Про молчание — тоже.

Левую руку я просунула под ворот и нашла ключ. Правая шарила за спиной и провалилась в чан по запястье. Соль была сухая, ей было всё равно. Пальцы набрали горсть. Я не заметила.

Ключ на месте. Щербина на бородке. Я сжала так, что край впился в ладонь. Боль пришла не из погреба. Из соляной ниши. Из яви.

Губы шевельнулись без звука.

Шесь. Пять.

— Кто тебя прислал? — спросил Гром. От него пахло блинами.

— Кто?

Четыре. По краям зрения собиралась темнота. Три. Два. Один.

Я лежала на соли. Табурет опрокинут. Ведро на боку, рассол щипал щёку. Я попыталась вдохнуть. Воздух протолкнулся в горло с трудом. Кашель оказался больнее молчания. Савва Гром спал. Одеяло поднималось раз на четыре моих счёта. Мне показалось, он улыбается. При таком свете улыбаться мог кто угодно.

— Шесть минут сорок одна секунда, — сказал Холм.

Он стоял рядом. Часы в руке.

Я села. Ниша качнулась и медленно встала на место.

— Нож.

— В муке. В ларе, на дне. У матери.

Голос сорвался в хрип. Холм записал. Быстро, мелко.

— Всё?

Можно было сказать «всё». Задание выполнено, время есть. Меня взяли бы в группу, где учат брать у спящих только то, что велено.

— Третьего нашли в чане, — сказала я. — Железном. На боку клеймо: Пятая солеварня. Дно прогорело. Засыпан солью. На руке чёрный нарукавник.

Карандаш замер. Холм не похвалил. Положил тетрадь на табурет и присел. Колени хрустнули. Звук был такой будничный, что я опять едва не засмеялась.

Он коснулся подбородка двумя пальцами и повернул лицо к фонарю.

— Потерпите.

Левую руку — ту, в ожогах, — положил мне на шею. Не сжал. Прижал ладонь: большой палец спереди, остальные сбоку, где горело. Шрамы гладкие, прохладные. От него пахло чаем и солью. Я не отодвинулась. Под его ладонью боль стала тише. На её место пришло тепло, сразу и в шею, и в лицо. Я сидела в рассоле, с мокрым носом, и не хотела, чтобы он убирал руку.

— Сто тридцать, — сказал Холм.

— Что?

— Пульс. Пока вас душили, был ниже. Я смотрел на жилку.

Он убрал ладонь. Я не нашла, что ответить. Он и не ждал.

— Вы ушли за рамки. Зачем?

— Третьего ждут.

— Вы его знаете?

— Нет.

— Тогда зачем полезли?

Я пожала плечом. Плечо отозвалось. Холм ждал. С часами без стекла он мог ждать сколько угодно.

— Чтобы вы меня запомнили.

Правда. Не вся.

Он поднялся, поставил табурет, убрал тетрадь во внутренний карман. На ладони краснел след от ключа. Пока без крови.

— К утру проступит, — сказал Холм.

Под ногтями правой руки белели мелкие крупинки. Соль. Со стен, наверное. Я вытерла пальцы о юбку.

— На каком счёте упали?

— На семи. Раньше, чем нужно. Волновалась.

— Где была ладонь?

— На запястье.

— Нет.

Он отвернулся к колыбели и поправил одеяло Грома, взявшись за самый край.
— В двух пальцах над его рукой, Серова. От первого счёта до последнего. Я видел.
Я сжала ключ под воротом. Металл согрелся от кожи. Холм снова посмотрел на меня.
— Вы вошли без касания. Таких здесь не учат. Таких здесь укладывают.

Глава 2

Сто тридцать

Арвид

В протоколе оставалось одно слово: «врождённый». После этого Серову уложили бы до первого снега. Совет прислал бы благодарность на гербовой бумаге. Я наконец лёг бы спать.

Протокол лежал на столе с пяти вечера. Сейчас было без четверти двенадцать. Я проверил часы пальцем. Стекло выбили шесть лет назад. Нового я так и не вставил. При тусклой лампе проще нащупать стрелку, чем щуриться.

Чай остыл. Я подсыпал соли из бумажного кулька и выпил за три глотка. Приезжие морщатся. Я вырос над рудником. Пресная вода для меня на вкус как из лужи.

В протоколе всё было заполнено моим почерком, кроме одной строки.

Поступающая: Серова О. П., 24 года. Спящий: Гром С. Л., ниша третья. Задание: место хранения орудия. Выполнено: ларь с мукой, дом матери спящего. Сверх задания: место сокрытия тела. Подтверждено полицией в 15:20. Пятая солеварня, чан 4. Время во сне: 6 минут 41 секунда. Способ входа: _____.

Пустую строку я дважды обвёл и дважды стёр.

За двенадцать лет я видел вход без касания дважды. Грузчик из Нижней слободы проваливался в сны соседей через стенку барака. Жена податного инспектора заходила к мужу за перегородку, пока тот храпел, и выясняла, сколько он проиграл за неделю. Обоих уложили. Грузчика укладывал я.

Сегодня у третьей ниши Серова потянулась к запястью Грома левой рукой и не дотронулась. Пальцы замерли в двух пальцах над кожей. Соль по краю колыбели потемнела. Гром повёл глазами под веками. Лицо девушки исчезло так быстро, что я едва успел заметить перемену. У остальных на это уходит не меньше половины минуты. У неё — один вдох.

Я стоял у изголовья с часами и смотрел, как на шее проступают следы. Сначала одно широкое пятно спереди. Потом четыре сбоку. Гром правша и душит одинаково. В деле шесть описаний.

Пульс я отсчитывал по жилке под пятнами. Девяносто шесть. Для человека, которого душат, мало. Она не отбивалась. Искала.

На седьмой минуте начала считать. Сначала губами, потом шёпотом. Я наклонился.

— Шесь. Пять.

Без «т». Шесь.

Старые шрамы на левой кисти натянуло. Кожа стала тесной, как перчатка на размер меньше. Так бывало только в одном месте. В моих снах, когда она подходила близко.

Четыре года каждую ночь ко мне приходит женщина без лица. Стоит у окна в чужой кухне, у белой изразцовой печи, и считает:

Семь. Шесь. Пять. Четыре. Три. Два.

До одного не доходила ни разу. Я просыпался на «двух». До утра тянуло левую руку. Я никому о ней не говорил.

Сноходца, которому четыре года подряд снится одно и то же, следует проверить. Проверенных иногда укладывают. Для их же спокойствия.

Сегодня в третьей нише поступающая Серова сказала «шесь». Потом вышла. Я приложил ладонь к шее: не повреждены ли хрящи. Хрящи целы. Пульс частый. Сто тридцать.

Под рукой убийцы — девяносто шесть. Под моей — сто тридцать.

Я сказал это вслух. Обычно поступающим цифры пульса не называют. Серова поняла раньше, чем я договорил. Шея под ладонью покраснела, и тепло перешло мне в пальцы. Руку я убрал позже, чем следовало. На полсекунды. Я успел их сосчитать.

Потом сказал то, что полагалось: таких здесь укладывают. И пошёл писать протокол.

В дверь постучали дважды, коротко, почти без паузы. Так в Академии стучит только один человек. После одиннадцати я открываю ему.

Аглая Ильинична Мирская заведует Бессонным крылом двадцать лет. Внесла поднос: чайник, две чашки, жестяная коробка мятных пряников. От неё пахло лавандой. Даже здесь, где всё отдаёт солью.

— Не спишь, детка.

Не вопрос. Аглая Ильинична не спрашивает о том, на что уже знает ответ.

— Мне тридцать пять. — А мне пятьдесят четыре, и мать до сих пор зовёт меня деткой. Ешь пряник. Ужинал? — Да.

Она поставила поднос на протокол, тут же передумала и вытянула лист из-под чайника. Прочитала без очков, на вытянутой руке.

— Девочка нашла счетовода. Полиция искала полгода, она — за шесть минут. Мало кто с первого раза видит дальше кухни. — Она видела погреб. — Вот и я о том же.

Аглая Ильинична постучала ногтем по пустой строке.

— А это что? — Строка. — Пустая. Ты не оставляешь пустых строк, Арвид. Даже в первых протоколах. Я помню. Их можно было в рамку вешать. — Вы пришли в полночь из-за одной строки? — Я пришла с пряниками. Строку заметила по дороге. — Чернила кончились.

Она посмотрела на полную чернильницу. Потом на меня. Так смотрят на ребёнка, который клянётся, что не ел варенье.

— Совет ждёт протокол к восьми. Гром наш, детка. Теперь у него третий труп. Его переведут в нижний ярус. Там каждое место на счету.

Она поднялась и разгладила шаль.

— Береги девочку. Таких у нас мало. Они дорого стоят.

Уже у двери обернулась:

— Опять тянет?

Я не заметил, что тру левую кисть большим пальцем. Убрал руку на колено.

— Погода. — В Белосоли нет погоды, детка. Есть соль и сырость. Спокойной ночи.

После одиннадцати я не ем того, что приносят в кабинет. Пряники отправились в ведро.

В половине первого в медной трубе над столом загремело. В лоток выкатилась латунная гильза. Запрос в губернский стол записей я отправил в три, сразу после экзамена. Ответ обычно идёт неделю. Этот добрался за девять часов. Ночная смена в губернии, должно быть, скучала.

Телеграфную ленту наклеили на бланк криво.

СЕРОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 22 ЛЕТ СКОНЧАЛАСЬ ОТ ТИФА ДВА ГОДА НАЗАД ТЧК ПОГРЕБЕНА ПЕСЧАНОЕ КЛАДБИЩЕ УЧАСТОК СЕМЬ ТЧК ДОКУМЕНТЫ ПОКОЙНОЙ В СТОЛ НЕ СДАНЫ ТЧК

Я прочитал дважды. Перевернул протокол. Первая строка: Серова О. П., двадцать четыре года. Мёртвая Серова сегодня сдала мне вступительный. Без касания. С отличием.

Я налил чай из чайника Аглаи Ильиничны, понюхал и вылил в ведро. Заварил свой.

Кто она, я понял не сразу. Минут двадцать сидел и перебирал приметы, как карточки.

Левша. К Грому тянулась левой, правую держала у бедра.

Волосы короткие, неровные, ступенька сзади. Так стригут себя сами, не глядя в зеркало.

Белый старый шрам через левую бровь. Года три. Может, четыре.

Считает, когда страшно. Говорит «шесь».

На шраме карточки сошлись.

Кожевенная, дом девять. Четыре года назад. Обыск шёл третий час. Вереска увели в первые десять минут. Он шёл к карете и шутил с конвойными о погоде. Дарья, его жена, к тому дню уже четыре года числилась умершей. В бумагах это называлось смертью. Дочь, девятнадцатилетнюю, в доме не нашли.

В спальне на втором этаже стоял шкаф. Я открыл его последним. Между шубами и задней стенкой сидела девушка. Молчала. Обеими руками прижимала к горлу что-то на шнурке. Из рассечённой брови кровь текла в левый глаз. Она не моргала.

Внизу ждали двое из охранного отделения. Приказ был на всю семью.

Я закрыл дверцу. В протоколе обыска написал: «Дочь в доме не обнаружена».

Через месяц уложил Богдана Вереска. Это была моя работа.

Его дочь сегодня лежала в моей колыбели и вошла в сон убийцы, не прикоснувшись к нему. Под именем Серовой два года в земле лежит чужая девушка. А голос — как у той, что четыре года стоит в моём сне у чужого окна.

Если вписать «врождённый», её уложат. Может быть, женщина без лица после этого перестанет приходить. Четыре года я хотел, чтобы она перестала.

Я обмакнул перо и заполнил строку: «По касанию. Касание направлено экзаменатором».

Ниже, в графе рекомендаций: «Допущена к Бессонному крылу. Рекомендована в группу дознания (магистр Холм)».

На полях, рядом со временем сна, стояла цифра 130. Карандашом, мелко. Я не помнил, когда успел её поставить. Подцепил лезвием бритвы и снимал графит по крупице, пока бумага не стала почти прозрачной. Крошки стряхнул со стола.

На последней странице тетради был список. Даты и по два-три слова. Предпоследняя запись — одиннадцать месяцев назад: «Матери: сказал, что ужинаю».

Я добавил две строки.

«А. И.: ужинал».

«Протокол, ниша три».

Фамилию не написал. Всё равно это была не её фамилия.

Лёг в начале третьего на кушетку, не раздеваясь. Будильник на пять. В восемь Совет, а мне хватает трёх часов. Хватает уже четыре года.

Кухня была прежней. Белая изразцовая печь, трещина у заслонки. Стол без скатерти. Солонка в виде утки. За окном вечер, который не кончается. Этот дом я в Белосоли так и не нашёл, хотя обошёл полгорода.

Она стояла у окна. Серое домашнее платье, руки опущены. Лица не было. Не маска и не туман. Гладкое светлое место, плотное, как скол каменной соли, на котором ещё ничего не вырубили.

— Семь, — сказала она. — Шесь. — Пять.

Левую кисть свело. Пальцы сжались сами.

— Четыре. — Три.

Я ждал «двух». На этом счёте я всегда просыпаюсь.

— Два.

Я остался во сне.

На шее у неё был кожаный шнурок. Раньше его не было. Четыре года не было.

— Один.

Она отошла от окна. За четыре года ни разу не покидала его. Под ногой скрипнула половица. Прежде половицы здесь молчали.

Женщина подошла на расстояние ладони. Гладкое место, где должно быть лицо, повернулось ко мне.

— Не отдавай меня им.

Глава 3

Правой рукой

Синяки выступили к утру. Испугалась я не их. Четыре года я не спала при людях. А этой ночью делила комнату с чужой девушкой и не могла вспомнить, говорила ли во сне.

Я лежала на нижней койке и слушала, как сверху хрустят сушки. Ровно, с паузами: одна на десять вдохов. Досчитала до трёх, сбилась, начала снова.

— Ты не спишь, — сказала девушка сверху. — Я слышу. Сушку будешь?

С верхней койки свесилась рука. На бечёвке болталась связка. Вокруг косточки на запястье желтели четыре пятна.

Та самая, в зелёном пальто. Вчера на лестнице она сказала, как выйти из чужого сна. Вечером комендантша выдала нам один ключ на двоих и бирку: третий этаж, окно на дровяник.

Я взяла сушку. Пусть видит, что я не дикая.

— Ирма, — сказала она. — Лапина. Вчера не успела. Только не тех Лапиных, у которых пряники, а то все спрашивают.

— Ольга.

Имя легло ровно. Три недели я училась, чтобы оно не спотыкалось.

Ирма спустилась. Ночная рубашка почти до пят, шерстяные носки — один зелёный, другой бурый. Коса растрепалась, прядь прилипла к щеке. Она посмотрела на мою шею.

— Мать честная.

Я встала к зеркалу над умывальником. Четыре пятна сбоку, одно большое спереди, где давил большой палец. Гром душил правой. Я пересчитала следы. Пока считаешь, руки заняты.

— У меня такие были после свадьбы двоюродной сестры, — сказала Ирма за спиной.

Помолчала.

— Не в том смысле. Жених свалился с мостков в пруд, я его вытаскивала. За шею, за что ещё? Три дня сипел, а сестра говорила: даже к лучшему, хоть помолчал.

Я засмеялась и сразу перестала. Смех отдался в горле.

— Тебе мазь нужна, — решила Ирма. — У меня есть. Правда, для копыт. Тётка лечила коня. Конь выжил. Тётка неделю ночевала у соседки, запаха не выносила. Но конь выжил.

В дверь постучали трижды. Коротко, костяшками.

Ирма застыла. Сушка замерла у рта.

— Не комендантша, — шепнула она. — Та стучит кулаком.

Я застегнула воротник до горла. Синяки он не скрыл.

На пороге стояла невысокая женщина в сером платье и белом кружевном воротнике. Седые волосы уложены короной. Лавандой потянуло сразу, сквозь сырое дерево, бельё и вчерашний чай. В руках — банка, обвязанная марлей.

— Сидите, девочки, сидите, — сказала она, хотя мы обе стояли. — Аглая Ильинична. Я над Крылом.

Сказала так, будто пришла с кухни, и без приглашения села на мою койку. Пружины скрипнули.

— Иди сюда, детка. Показывай.

Отказаться было бы странно. Странностей мне пока хватало.

Я подошла. Аглая Ильинична размотала марлю. Мазь серая, крупитчатая, в ней поблёскивала соль. Пахла лавандой и чем-то горьким, аптечным.

— Сама варю. Магистр Холм, конечно, не догадался. Мужчины никогда не догадываются, что у девочки есть шея.

Она наносила мазь одним пальцем. Холодно, точно по пятнам. На синяки не смотрела. Следила за лицом. У большого пятна на горле палец задержался. Я сглотнула. Кожа двинулась под её пальцем.

— Пульс у тебя хороший. Крепкий.

За сутки это была вторая чужая рука у меня на горле. Вчерашняя была сухая, пахла чаем и ушла ровно тогда, когда стала нужна. Щёки нагрелись. Аглая Ильинична улыбнулась. Пульс она, похоже, тоже сосчитала.

— Чан нашли, — сказала она, вытирая палец о марлю. — В Пятой солеварне. Счетовода полгода искали. Жена уже вдовью пенсию выхлопотала. Теперь не знаю, отберут ли. Вот так поможешь людям, детка, а они без пенсии остаются.

За спиной Ирма хрюкнула и закашлялась в кулак.

— Магистр в рапорте написал: «Нашла кандидат Серова». Мог написать, что нашёл экзаменатор. Ему бы премию дали. Не написал.

Аглая Ильинична завинтила банку.

— Следователи полгода искали, а первокурсница нашла за шесть минут. Мне стало любопытно, какая ты. Я старая, мне можно.

Я хотела сказать: шесть минут сорок одна секунда. Не сказала. Холм назвал время до секунды. Мирская округлила. То ли не дочитала рапорт, то ли ждала, поправлю ли.

Она вынула из рукава лист, сложенный вчетверо.

— Прошение о переводе во вторую группу. Там архив, сны пьяниц и учебные колыбели.

— А в чём разница?

— Вторая группа до третьего курса в Крыло не спускается.

Аглая Ильинична расправила лист на колене.

— Магистр Холм водит своих вниз с первого месяца. Каждый год у него кто-нибудь не возвращается.

— Каждый год?

— Двенадцать лет он ведёт группу. В нижнем ярусе лежат одиннадцать его студентов. Не спят. Пустые. Их кормят с ложки. Глотают. Больше ничего.

Она выдержала паузу.

— Один год Холм болел и группу не набирал.

Ирма перестала жевать.

На листе было напечатано: «Прошу перевести меня…» Ниже — место для подписи. Под текстом уже стояла подпись Мирской. Мелкая, круглая, с завитком.

Вторая группа — два года наверху. Подальше от Холма и от нижних допусков. Два года, чтобы кто-нибудь от скуки не написал в губернию и не спросил, жива ли Ольга Серова, которой двадцать четыре и которая умерла два года назад. И два года, пока отец лежит ниже ста четырнадцати ступеней.

— Нет, — сказала я. — Спасибо. Я останусь у магистра Холма.

Аглая Ильинична не удивилась. Похоже, этого и ждала.

— Тогда другая бумажка. Порядок, детка. «Предупреждена о рисках нижних допусков, претензий не имею, родственников уведомить прошу». Последнее зачеркни, если уведомлять некого.

— Некого.

— Так я и думала.

Она протянула карандаш. Я взяла его левой — как всегда — и тут же переложила в правую. Ольга Серова расписывается правой. Крупно, с наклоном, с длинным хвостом у «в». Три недели я выводила эту подпись на газетных полях, пока рука не привыкла. Той самой правой, под ногтями которой со вчерашнего дня сидела соль. Вечером я тёрла щёткой до красноты. Соль не ушла.

«С». «е». «р».

Пока шло.

«О» вышла угловатой. Хвост у «в» дрогнул и сполз к краю листа.

Аглая Ильинична смотрела не на подпись. На руку.

— Левой ровнее бы вышло, детка.

От Ирмы донёсся тихий хруст. Она сжала сушку в кулаке.

Я стала считать про себя. Семь. Шесь. Пять. На «пяти» нашёлся ответ.

— Меня в школе переучивали. Линейкой по пальцам. Ложку держу левой, пишу правой. А то учительница ночью приснится.

— Ох уж эти школы.

Аглая Ильинична сложила листы и убрала в рукав. Поднялась. Койка тихо скрипнула, освобождаясь.

— Мазь оставлю. Мажь на ночь и пей тёплое. И ещё, детка…

Она задержалась у двери.

— Магистру от меня ничего не передавай. Он всё выбрасывает.

Дверь закрылась. Лаванда осталась.

Ирма опустилась на пол.

— Она мне вчера тоже мазала. Запястье. Вот.

Протянула руку. Вчерашние пятна пожелтели и съёжились. Синяки так за ночь не проходят. Я посмотрела на свои. По краям они тоже побледнели.

— Хорошая мазь, — сказала я.

— Хорошая, — сказала Ирма.

Мы ещё немного смотрели на банку.

Чай Ирма заваривала на спиртовке, которую прятала в коробке из-под ботинок. Спиртовки в общежитии запрещены. Ботинки — нет.

— Здесь все пьют чай с солью, — сказала она с отвращением. — Я из Заречья. У нас с вареньем.

Из той же коробки достала банку крыжовника. Кружка была одна. Мы пили по очереди, сидя между койками. Крыжовник кислый, косточки хрустели на зубах.

Ирма рассказывала про тётку, коня и свой экзамен. Ей достался пьяный ямщик. Он пытался петь и не умел. Полчаса она слушала, как он набирает воздух для следующего куплета. Потом он вспомнил, куда дел деньги. Прямо посреди песни.

— Я чуть не умерла, — сказала Ирма. — От песни, не от ямщика.

Я сидела, прислонившись спиной к койке. Плечи опустились сами. Шея почти не болела. Кружка грела ладони. За окном кололи дрова. Ирма облизывала ложку. В комнате было тихо и обыкновенно. От этого глаза начали слипаться.

— Слушай, а зачем ты к Холму? — спросила Ирма. — Только честно. Одиннадцать же.

— Мне нравятся люди, которые всё выбрасывают.

Ирма рассмеялась и пролила чай на зелёный носок. Потом умолкла. Посмотрела на меня, на свою койку, снова на меня.

— Я должна сказать. Иначе нечестно.

Она сунула руку под подушку и достала толстую тетрадь, оклеенную обоями с мелкими синими цветами.

— Я записываю, — сказала она и покраснела до ушей. — Кто что говорит во сне. С детства. У нас дома все разговаривали во сне, а утром ничего не помнили. А я помнила. Если записать, человеку потом не так… ну. Не так одному.

Она потёрла нос.

— Я никому не показываю. Честно. Это просто моё.

Я держала кружку. Она нагрелась так, что пальцы жгло. На пол я её не ставила.

— Я что-нибудь говорила?

Ирма открыла тетрадь на последней странице. Почерк круглый, почти детский, с наклоном назад.

— Сначала ты сказала: «Не открывай». Два раза. Совсем тихо. Потом считала. Семь, шесть… Только ты говоришь «шесть» без «т». Я подумала, это у вас в губернии так. У меня бабка тоже говорит «ишо»…

Она запнулась и подняла глаза.

— А потом ты долго звала какого-то Богдана. Это кто?

Глава 4

По носу

Первое занятие началось в восемь. Кирилл Дубов опоздал на пять минут.

Нас было семеро: четверо парней, я, Ирма и Рита. Рита молчала и весь урок изучала столешницу. Мы сидели в аудитории без окон, под газовой лампой. Ирма устроилась рядом и тихо грызла сушку.

Холм вошёл без минуты восемь. Положил на стол тетрадь и карандаш. Заметил пустой стул.

— Дубов.

Не вопрос и не замечание. Имя, которому оставили место.

Кирилл появился на пятой минуте. Высокий, в дорогом пальто. Волосы уложены так, чтобы казаться растрёпанными. Сел рядом со мной.

— Задержался, — сказал он Холму. — Пробки на лестнице.

За спиной Ирма сдавленно хрюкнула.

Холм раскрыл тетрадь и не ответил.

— Сегодня работаем парами. Один входит, второй страхует снаружи. На следующем заходе меняетесь.

Он разложил карточки.

— Серова и Дубов. Первая пара.

На моей карточке было: «Кирилл Дубов, 25 лет. Ниша 47».

Я повернула карточку к Холму. Он взглянул.

— Совпадения бывают.

Лестницу в сто четырнадцать ступеней я уже знала почти на ощупь. На семьдесят пятой Дубов догнал меня.

— Ты с вступительного. Говорят, нашла тело в чане.

— Говорят.

— Редкость. Могла попросить, чтобы в протоколе расписали покрасивее. С первого дня сделала бы себе имя.

— Зачем?

Он посмотрел так, будто вопрос вышел неожиданнее, чем следовало.

— Здесь имена важнее способностей. Я знаю, о чём говорю. Мой отец — судья.

Я не стала выяснять, чем это должно мне помочь.

У сорок седьмой ниши Холм остановил нас. Сюда мы ещё не спускались. Лампы стояли реже, между пятнами света тянулись длинные темноты. На стенах — бирки. Я не читала фамилий.

В колыбели лежал молодой мужчина. Лет двадцати пяти, как студент у меня за плечом. Лицо спокойное, чистое, без следов болезни.

Холм проверил бирку.

— Кирилл Андреевич Дубов. Двадцать пять лет. Уложен восемь месяцев назад.

Убрал руку.

— Задание: войти, найти любимое место и выйти, пока он вас не заметил. Ничего не трогать.

Студент рядом перестал улыбаться.

— Это…

— Ваш однофамилец, — сказал Холм. — Такое случается.

Дубов посмотрел на спящего, потом на магистра.

— Серова идёт первой. Дубов страхует снаружи.

— Почему она?

Голос стал ровным. Прежней лёгкости в нём не осталось.

— Потому что страхующий не входит. Никогда.

Холм посмотрел ему в лицо.

— Это правило галереи.

Дубов отошёл к стене и скрестил руки.

Я опустилась на колени. Запястье спящего узкое, косточки выступают. Я положила ладонь и начала считать.

Сон встретил меня летом.

У берега лежала лодка с облупившейся краской. К воде клонилась старая ива, ветви почти касались пруда. В лодке сидел человек с биркой — Кирилл Андреевич — и удил. Спиной ко мне.

Я осталась на берегу, за ивой. Пруд, лодка, тишина. Любимое место. Задание выполнено.

Я начала считать назад.

За спиной треснула ветка. Студент стоял в двух шагах. Его здесь быть не должно. Страхующий остаётся у колыбели. Он, видно, дождался, пока я начну счёт, и положил руку на второе запястье.

— Страхующий не входит, — сказала я.

— Я только посмотреть.

Рыбак в лодке перестал следить за поплавком и медленно повернул голову.

— Выходи, — сказала я одними губами.

— Вместе выйдем.

Сон уже нас услышал.

Человек в лодке поднялся. Лодка качнулась у берега. Он смотрел на иву, пытаясь разглядеть, кто за ней.

— Кто там?

Я ударила студента локтем в нос. Коротко, снизу вверх. Не выбирала удар. В тесном месте не размахнёшься. Тело помнило это со вчерашнего погреба.

Он отшатнулся. Хватка на запястье спящего ослабла.

Десять. Девять. Восемь.

Рыбак всё смотрел на иву.

Семь. Шесь. Пять.

Студент сел на траву, зажав нос. На лице было удивление. Будто только сейчас понял, что сделал.

Четыре. Три. Два.

Лодка покачивалась.

Один.

Я открыла глаза в галерее.

Холм стоял у изголовья с часами и смотрел не на меня. На Дубова. Тот сидел у стены, прижимая ладонь к носу. Между пальцами уже выступила кровь. Дышал ртом. Побледнел.

Холм убрал часы.

— Серова.

— Пруд. Ива у воды, лодка с облупившейся краской. Сидел спиной к берегу, удил. Ничего не трогала.

— Сколько?

— Минуты три. Точно не считала.

Он записал. Потом посмотрел на Кирилла.

— Откуда кровь?

Дубов отнял ладонь и коснулся переносицы. Сразу поморщился.

— Сам виноват.

Холм промолчал.

— Вошёл, — добавил Дубов. — Она велела выйти. Я не вышел.

Холм занёс что-то в тетрадь и убрал её во внутренний карман.

— В лазарет.

Дубов поднялся и пошёл к лестнице, не оглядываясь. Нос уже распухал.

— Серова, со мной.

Холм пошёл вдоль галереи. Я за ним. Бирки мелькали. Я не читала.

У поворота он остановился. Там начиналась лестница в нижний ярус: перил нет, камень уходит вниз, в темноту.

— Дубов вошёл без разрешения, — сказал он. — Вы его ударили.

— Он мешал мне выйти.

— Я понял.

Холм смотрел в лестницу.

— Нос вы сломали во сне. Кровь уже здесь. К утру распухнет так, что галерея увидит без протокола.

— Понимаю.

— Нет.

Он повернулся.

— Завтра будут знать, что первокурсница ударила первокурсника на задании. Это называется вмешательством.

Он помолчал.

— В протоколе я напишу, что Дубов нарушил правило и пострадал от собственного поступка. Это не значит, что вы сделали правильно. Это значит, что результат вышел полезным.

Я не нашла ответа.

— Годна к Крылу, — сказал он. — Завтра в пять. Бессонное крыло.

Из нижнего яруса тянуло солью и ещё чем-то тяжёлым, почти без запаха.

— Вы ведь ради него пришли, Серова?

Это не было вопросом. Я промолчала.

Холм поднялся. Ступени под ним не скрипнули ни разу. Он давно знал, куда ставить ноги.

Глава 5

Мокрое письмо

На следующий день, ровно в пять, нас повели в Крыло. Четверо. Я. Дубов с заклеенным носом. Рита, которая по-прежнему отвечала односложно. Лёня — парень с синяком поперёк лба. Он даже не пытался его скрыть.

Дубов шёл чуть впереди, будто повязка была не на нём. Холм вёл и не оборачивался. Я считала ступени. Уже не вслух. На каждой в стене ниша, в нише колыбель, на колыбели бирка. Я читала только фамилии. Без имён. Так легче думать о камне и железе, не о людях.

На семьдесят второй Дубов что-то шепнул Лёне. Тот покосился на бирку над плечом и перебрался к середине лестницы. Я поняла почему и не отошла. Сырость проступала сквозь рукав. Ладонь я держала у стены, чтобы знать, где кончается проход.

— Серова.

Холм остановился на три ступени ниже.

— Руку уберите.

Я отняла ладонь.

Внизу он остановил нас перед занавеской в конце галереи. Лампы здесь стояли чаще. Запах был хуже: кисловатый, тяжёлый, уже не соль. Я перешла на дыхание ртом. Рита тоже. Дубов держался так, будто не дышал вовсе.

— Варвара Ивановна Котова, сорок шесть лет, — сказал Холм. — Уложена девять месяцев назад. Утопила мужа в бочке с водой.

Оглядел нас по очереди.

— Задание: войти, задержать её внимание и ждать меня. Ничего не обещать. Ничего не брать. Вы — зеркало, не участники.

— Почему зеркало? — спросил Лёня.

— При зрителях людям легче говорить.

Холм отдёрнул занавеску.

— Дубов, первый.

Варвара Котова лежала неподвижно, как все. Лицо открытое, приятное. Оно не старалось понравиться и оттого располагало. Каштановые волосы, широкие ладони.

Дубов положил руку ей на запястье и закрыл глаза.

Прошло несколько минут. Лёня переступил. Рита смотрела в пол. Холм стоял у изголовья и следил за часами.

На шестой минуте Дубов открыл глаза.

— Сад. Сидит, обрывает листья, складывает в таз. Всё по кругу.

— Говорила?

— Нет. Только смотрела.

Холм записал и убрал тетрадь.

— Серова.

Запястье Варвары шире моего. Кожа тёплая, сухая, под ней синие жилки. Я положила ладонь и начала считать.

В саду стоял августовский зной. За плетнём тянулся ряд рябин. Варвара сидела на низком чурбаке и обрывала листья с ветки. Быстро, не глядя, как крошат засохший хлеб. Рядом таз, уже наполовину полный.

Я вышла из-за рябины. Варвара взглянула мельком, как на кошку, забредшую во двор.

— Садись.

Мне не следовало. Я должна была остаться зеркалом. Я села. Между нами стоял таз. Варвара продолжала обрывать листья и не отрывала глаз от ветки.

— У вас жарко, — сказала я.

— Август.

Она взяла следующую ветку.

— Ты чья?

— Чужая.

Варвара кивнула, будто я ответила правильно.

— Мне передать можно? Нине. Дочке. Она на Кожевенной, дом четыре. Передашь?

Холм сказал: ничего не обещать. Я не сказала ни «да», ни «нет».

— Расскажи мне про неё.

Варвара помедлила. Листья падали в таз один за другим.

— Сердитая. С детства. Смеётся, когда сердится. Папку не любила. Не говорила, а я видела.

Перешла к следующей ветке.

— Я ей не сказала, что сделала. Надо было сказать.

— Думаешь, она бы поняла?

— Нет.

Варвара подняла глаза.

— Но всё равно надо.

Сад дрогнул. Ветки рябины качнулись без ветра. Варвара вынула из кармана фартука сложенный лист. Бумага мятая, серая от сырости. Сгиб обмотан тонкой бечёвкой.

— Передай. Там написано.

Я не должна была брать. Взяла.

Воздух изменился. Не сразу. Сад перестал быть только садом. Варвара почувствовала раньше меня. Пальцы остановились. Последние листья соскользнули в таз.

Холм стоял у плетня. Он пришёл не смотреть. Сон это понял. Под рябинами потемнели тени.

Варвара посмотрела на него без страха. Узнала.

— Пришёл.

— Пришёл.

Холм сел на лавку у плетня. Я осталась рядом с Варварой. Он на меня не смотрел. В эту минуту для него была только она.

— Помнишь, зачем?

— Помню.

— Расскажи.

Варвара говорила коротко. Бочка стояла во дворе. Был август, как сейчас. Муж вернулся пьяный. Она была трезвая. Сначала хотела, чтобы он перестал кричать.

— А потом? — спросил Холм.

— А потом держала.

Листья в тазу лежали неподвижно.

— Долго?

— Долго.

— Жалеешь?

Варвара смотрела на него и решала, стоит ли отвечать.

— Нину жалею. А его — нет.

— Это честно.

Я думала, он встанет и оставит её в саду, с тазом и рябинами. Он назвал её так, как называют над колыбелью:

— Варвара Ивановна.

— Да.

— Это не ваш сад.

Он не повысил голоса. Варвара молчала. Сад застыл.

— Вы здесь не сидите уже девять месяцев. Вы в нише тридцать восемь, в галерее нижнего яруса. Я знаю, что вы это знаете.

Листья в тазу разом посерели. По рябинам прошло что-то невидимое. Деревья стали плоскими, как рисунок на стене, которую сейчас закрасят.

— Знаю, — сказала Варвара.

— Тогда говорите отсюда. Не из августа.

Холм не наклонился к ней и не протянул руки. Просто не отпускал фактов. Ниша. Девять месяцев. Бочка. Сколько раз она уже рассказывала это другим, которые приходили до него.

Варвара отвечала всё короче. Ветку в её пальцах ветер не качал, потому что ветра здесь больше не было. Она обрывала листья, которых уже не было. Пальцы продолжали работу.

Она посмотрела на меня один раз. Не за помощью. Чтобы кто-то видел, что она ещё здесь. Я осталась.

На каком-то счёте Холм не изменил ни голоса, ни позы.

— Серова. Выйдите.

Я начала считать назад.

Десять. Девять. Восемь.

Варвара смотрела перед собой. Рябины бледнели, пока не стали почти прозрачными. Пальцы всё ещё крошили пустую ветку.

Семь. Шесь. Пять. Четыре. Три. Два. Один.

Я открыла глаза. В галерее никто не говорил. Лёня смотрел в пол. Рита — на Варвару.

Я разжала пальцы. В ладони лежал мятый лист, перетянутый бечёвкой. Бумага промокла насквозь. Будто её держали под водой. Настоящая бумага. Здесь, в нише, у меня в руке.

Я снова сжала кулак.

Через несколько минут занавеска шевельнулась. Холм вышел, застёгивая манжету. Часы убрал в карман.

— Как она? — тихо спросил Лёня.

Холм будто не услышал.

— Разбор в аудитории через двадцать минут.

Он повернулся к лестнице.

— Серова, останьтесь.

Дубов, Рита и Лёня пошли наверх. По тому, как Кирилл держал заклеенный нос, я поняла: он хотел, чтобы осталась не я.

Холм ждал у занавески.

— Что с ней?

— Пустая.

Сказал так же ровно, как назвал нишу.

— С завтрашнего утра её начнут кормить.

— Она знала, что так будет?

— Да.

— Тогда зачем вы…

— Так положено.

Ответом это не было. Или было. Только не тем, от которого что-то меняется.

Холм посмотрел на мою сжатую руку.

— Разожмите, Серова.

Я не пошевелилась.

— Разожмите.

Я раскрыла ладонь. Он смотрел на бумагу дольше, чем нужно, чтобы понять, что это.

— Где взяли?

— Она дала. Просила передать дочери. Нине Котовой, Кожевенная, дом четыре.

Я не убирала руку. Он всё ещё смотрел на письмо.

— Передадите.

Я подняла глаза.

— Нина Котова. Кожевенная, дом четыре. Завтра до восьми. Одна.

Он уже пошёл к лестнице.

— Это задание?

— Разрешение.

Поднялся на три ступени и остановился.

— Вы знали, что я возьму письмо.

Пауза.

— Я знал, что вы не уйдёте, пока она не отдаст, — сказал он. — Это разные вещи.

Он пошёл наверх. Я осталась с письмом.

В книжке за шесть копеек было написано: из сна нельзя вынести вещи. Второе правило, после счёта. Я перечитывала книжку трижды на вокзале, пока ждала поезд.

Бумага была мокрой. Почему — я не понимала. Я спрятала её в карман и стала подниматься.

На восемнадцатой ступени висела бирка. Фамилия, статья, год. На тридцать первой — ещё одна. На сорок пятой — третья. Имён я не читала. Считала ступени и чувствовала в кармане письмо, принесённое оттуда, откуда нельзя ничего приносить.

Глава 6

Клеймо

Письмо я несла до утра. Варвара отдала его в саду, между рябинами и тазом с листьями. «Передай. Дочке. Нина, Кожевенная, дом четыре». Я вынесла из сна сложенный лист. Мокрый. Настоящий. Холм увидел и сказал: передадите. За разрешение отвечаешь сама. За приказ — тот, кто отдал.

Дом четыре я знала. Я выросла в доме девять. Между ними — солеваренная стена и три чахлые берёзы. Потом одним днём всё стало чужим. Даже берёзы.

Нижний город начинался там, где кончалась мостовая. Дальше шли деревянные тротуары. Под ногами они пружинили и хлюпали, когда поднималась вода. А вода здесь поднимается каждую осень. Пахло отработанным рассолом и дымом. В квартале стояли старые варницы, половина заколочена. На остальных по воскресеньям сушили бельё поперёк дворов. Оно провисало между трубами, белое и тяжёлое.

Дом номер четыре был двухэтажный, с просевшими сенями. На стук открыла девушка лет двадцати двух. Засаленный халат, папироса за ухом. Дверь оставила на цепочке и смотрела из-за косяка одним глазом.

— Нина?

— Кто спрашивает?

— От матери.

Взгляд сразу переменился.

— Мать девять месяцев лежит. Она ничего не передаёт.

— Вчера передала.

Нина помолчала, сняла цепочку и открыла. Халат старый, в цветах, вытертых до бледных пятен. Из глубины дома гудел самовар. В комнате было человек шесть. Кто-то спал на полу под шубой. Кто-то сидел на подоконнике и смотрел в окно. За столом двое играли в карты медленно, будто забыли, зачем сели.

— Здесь?

— Им всё равно.

Один из лежавших приподнял голову. Посмотрел без интереса и снова лёг. Живой. Только не вполне здесь.

— Это мгла? — спросила я.

Нина сняла папиросу с подоконника и прикурила от лампы.

— Ты из Академии. Видно.

— По чему?

— У вас у всех такой вид. Знаете слово и думаете, что знаете вещь.

Она выпустила дым в сторону.

— Здесь ночуют. Кто хочет — платит. Кто не хочет — идёт на улицу. Я не нанималась выяснять, откуда каждый пришёл.

Я достала лист.

— Держи. На углу пятно. Не от меня.

Нина взяла письмо двумя пальцами. Увидела пятно, и лицо у неё стало меньше.

— Она сама писала?

— Сама.

Врать не пришлось. Варвара сама достала лист из кармана фартука и сама вложила мне в руку. Пальцы у неё тогда не дрожали. Я лист не разворачивала. Нина тоже держала его сложенным. Руки у неё были материнские: широкие запястья, коротко обрезанные ногти.

— Чего тебе? — спросила она, не поднимая глаз.

— Ничего. Обещала передать.

— Из Академии письма просто так не носят.

Это было правдой. Только от Нины мне ничего не было нужно. Я хотела увидеть, как она прочтёт. Даже себе я не могла сказать зачем.

За спиной скрипнула половица. Что-то твёрдое упёрлось в лопатку.

— Долго стоишь, — сказал незнакомый голос. — Долго смотришь.

Я не обернулась. Смотрела на Нину.

— Курьер, — продолжил голос. — Присмотрись, Нин. Академический мундир. Казённая пуговица. Она за пакетом.

— Я не за пакетом.

— Все за пакетом.

Нина подняла голову. Не злилась. Оценивала, как незнакомую собаку: подпустить или отогнать.

— Вон там.

Кивнула в угол. На подоконнике лежал коричневый бумажный пакет, стянутый шнурком. С кулак. На боку синими чернилами: круг, якорь и буквы «Б. К.». Бессонное крыло.

Я посмотрела на пакет. На спящих у стен. На человека под шубой. Снова на пакет. Кто-то лежит в колыбели и переживает это снова. Здесь за это платят, заворачивают в коричневую бумагу и сбывают в чужом доме.

— Убери, — сказала я.

Голос вышел тихим.

— Чужое, — ответил человек за спиной. — Заказано.

Нина не вмешалась. От её молчания я разозлилась не на неё. Вместе с ней.

— Твоя мать там лежит, — сказала я. — Девять месяцев. Ты каждый день об этом знаешь и всё равно берёшь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.